

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Александр Дюма - Дуэль - Костомаров - - Тургенев и Лев Толстой

Мы жили несколько лет на одной и той же даче, близ Ораниенбаума. Все приходили в восторг от нее. И в самом деле, трудно было найти более удобный летний приют.

Построенная в виде красивого швейцарского домика, дача находилась на берегу взморья, вдали от всякого жилья, посреди громадного парка с тенистой, липовой аллеей, тянувшейся почти три четверти версты, так что дачники Петергофа и Ораниенбаума приезжали гулять в наш парк и любовались швейцарским домиком, стены которого были красиво декорированы гортензиями и другими растениями, а перед домом была разбита огромная клумба разнообразных цветов, расставлены скамейки, стулья и столики, на которых мы всегда обедали и завтракали.

Панаев, как я уже упоминала, был большой любитель дальних прогулок; ему было нипочем пройти двадцать верст, и часто, пригласив своего гостя "пройтись", он приводил его обратно в самом плачевном виде от усталости.

Кто знал, что значит у Панаева "пройтись", тот, идя с ним гулять, заранее делал условие, чтобы он не заводил его слишком далеко.

В 1858 году у нас на даче гостил молодой литератор Н. (Д.В.Григорович). Впрочем, он часто исчезал на целые недели на дачу к графу Кушелеву, которого тогда окружали разные литераторы. Кушелев был сам литератор и издавал журнал "Русское Слово". При его огромном богатстве, конечно, у него было много литераторов-поклонников [169].

Знаменитый французский романист Александр Дюма, приехав в Петербург, гостил на даче у графа Кушелева, и литератор Григорович сделался его другом, или, как я называла, "нянюшкой Дюма", потому что он всюду сопровождал французского романиста.

Григорович говорил, как француз [170], и к тому же обладал талантом комически рассказывать разные бывалые и небывалые сцены о каждом своем знакомом. Для Дюма он был сущим кладом.

Григорович объявил нам, что Дюма непременно желает познакомиться с редакторами "Современника" и их сотрудниками, и горячо доказывал, что нам следует принять Дюма по-европейски. Я настаивала только, чтобы чествование Дюма происходило не на даче, а на городской квартире, потому что наша дача была мала, да и вообще мне постоянно было много хлопот с неожиданными приездами гостей, потому что было крайне затруднительно доставать провизию, за которой приходилось посылать в Петергоф, отстоявший от нашей дачи в четырех верстах. По моей просьбе решено было принять Дюма на городской квартире, сделать ему завтрак и пригласить тех сотрудников, которые на лето оставались в Петербурге.

Григорович уехал опять к Кушелеву на дачу с тем, чтобы пригласить Дюма через неделю к нам на завтрак на нашу городскую квартиру.

Прошло после того дня два; мы только что сели за завтрак, как вдруг в аллею, ведущую к нашей даче, въехали дрожки, потом другие и третьи. Аллея, как я уже заметила, была длинная и обсаженная густо деревьями, а потому трудно было издали разглядеть едущих. Мы недоумевали, кто бы это мог ехать к нам, и притом так рано. Панаев решил, что это, верно, какие-нибудь дачники явились посмотреть парк, и уже встал из-за стола, чтобы разбранить извозчиков; но я, взглядевшись, воскликнула: "Боже мой, это едет Григорович с каким-то господином, без сомнения, он везет Дюма!"

Я не ошиблась - это был действительно Дюма, и с целой свитой: с секретарем и какими-то двумя французами, фамилии которых не помню, но один был художник, а другой агент

одного парижского банкирского дома, присланный в Россию по какому-то миллионному коммерческому предприятию.

Эти французы приехали к Дюма в гости, и он захватил их с собой. После взаимных представлений я поспешила уйти, чтобы распорядиться завтраком. Так как нашествие французов было неожиданно, то я должна была употребить весь запас провизии, назначенный на обед, им на завтрак. Виновник нашествия французов также пошел вслед за мной в кухню, оправдываясь, что он ни телом, ни душой не виноват в происшедшем. Я накинулась на него за то, что он, зная, как затруднительно достать провизию, не остановил Дюма ехать к нам, да еще со свитой.

- Голубушка, я всеми силами отговаривал Дюма, - отвечал Григорович, - но его точно муха укусила; как только встал сегодня, так и затвердил, что поедем к вам. Гости к нему приехали, я было обрадовался, но он и их потащил с собой... Войдите в мое-то положение, голубушка, я молил мысленно Бога, чтобы вас не было в саду, потому что, желая заставить Дюма отложить его намерение, я наврал ему, что вы очень больны и лежите в постели!..

Положение друга Дюма показалось мне так смешно, что я рассмеялась...

- Не сердитесь, голубушка, на меня... - продолжал он. - Накормите их чем-нибудь! Французы так же голодны, как были голодны их соотечественники в 1812 году: они останутся довольны всем, чем бы вы их ни кормили.

- Хорошо, - отвечала я, - накормить их завтраком у меня хватит провизии, но что, если они останутся обедать?..

Я не договорила, угадав по выражению лица Григоровича, что Дюма останется обедать, и поспешила послать кучера в Петергоф за провизией.

Действительно, французы были голодны, потому что ели с большим аппетитом за завтраком. Дюма съел даже полную тарелку простокваши и восторгался ею.

Впрочем, он всем восторгался - и дачей, и приготовлением кушанья, и тем, что завтрак был подан на воздухе. Он говорил своей свите:

- Вот эти люди умеют жить на даче, тогда как у графа все сидят запершись, в своих великолепных комнатах, а здесь простор! Дышится легко после еды.

Я сказала тихонько Панаеву, чтоб он предложил французам "пройтись". Дюма было заартачился, но его уверили, что в парке везде есть скамейки, а на берегу моря беседка, где его будет обдувать ветерок, так как день был очень жаркий.

Дюма умилился, когда я отказалась принять участие в общей прогулке, отговорясь тем, что мне надо присмотреть за обедом. Он начал уверять, что видит первую женщину-писательницу, в которой нет и тени синего чулка. Без сомнения, он радовался более тому, что его накормят хорошим обедом.

За обедом Дюма опять ел с большим аппетитом и все расхваливал, а от курника (пирог с яйцами и цыплятами) пришел в такое восхищение, что велел своему секретарю записать название пирога и способ его приготовления. Мне было очень приятно, напоив французов чаем, проститься с ними. Дюма уверял, что с тех пор, как приехал в Петербург, первый день провел так приятно, и в самых любезных фразах выражал мне свою благодарность за прекрасный обед и радушное гостеприимство.

Я надеялась, что теперь не скоро увижу Дюма, но, к моему огорчению, не прошло и трех дней, как он опять явился с своим секретарем, причем последний держал в руках довольно объемистый саквояж.

Я пришла в негодование, когда Дюма с развязностью объяснил, что приехал ночевать, потому что ему хочется вполне насладиться нашим радушным и приятным обществом, что он, после проведенного у нас на даче дня, чувствует тоску в доме графа Кушелева, притом же не может переносить присутствие спирита Юма, который в это время гостил на даче у Кушелева.

- Извольте, - говорил Дюма, - обедать в обществе людей и смотреть, как одного дергает пляска святого Витта, а другой сидит в столбняке, подняв глаза вверх. Весь аппетит пропадает, да и повар у графа какой-то злодей, никакого вкуса у него нет, все блюда точно трава! И это миллионер держит такого повара! я в первый раз, по выезде из Парижа, только у вас пил кофе с удовольствием, и так приятно видеть, как *chere dame* Pанаieff готовит его. Очень мне нужна севрская чашка, в которой подают у бедного графа скверный кофе!

Комнат у нас было так мало, что Панаев, уступив свой кабинет гостям, должен был спать на диване в другой комнате вместе с Григоровичем.

Я пользовалась обществом Дюма только во время обеда, завтрака и чая. Дюма, как только приехал, попросил у меня позволения надеть туфли и снять сюртук, потому что он привык в этом костюме всегда сидеть в саду у себя дома.

Роль секретаря Дюма была прежалкая. Дюма помыкал им, как лакеем. Секретарь был из робких людей и, должно быть, не очень умный, как я могла заключить из разговора с ним. Наружность секретаря была тоже невзрачная: маленького роста, с убитым выражением лица! Дюма заставил его срисовать карандашом нашу дачу, уверяя, что хочет построить себе точно такую же в окрестностях Парижа.

Перед обедом Панаев и Григорович повели Дюма пройтись. Я завела разговор с секретарем, который рисовал дачу, и спросила его, не скучает ли он по Парижу.

- Очень, очень скучаю! - отвечал он. - Я привык к семейной жизни, и мне очень тяжелы эти скитания. Мосье Дюма очень живого характера, он не может дня посидеть на одном месте. Ему-то хорошо, а мне крайне стеснительно постоянно находиться в чужом доме. И не знаю, - какую выгоду получу из моего путешествия? Сердце все изныло о жене и детях.

- Почему же вы не вернетесь в Париж?

- Как же вернуться ни с чем? Все мое жалованье получает жена. В сущности, у меня расходов нет. Мосье Дюма обязан содержать меня во время путешествия - давать мне комнату и стол. Но ведь он постоянно гостит у кого-нибудь, и я обязан быть всегда при нем. Вот захотелось ему срисовать вид вашей дачи, или что-нибудь записать для памяти, и я обязан это исполнить.

"Ну, - подумала я, - работа небольшая - записать, как делается курник, и срисовать дачу".

- Мосье Дюма, - продолжал секретарь, - опишет свое путешествие по России и получит много денег за издание этой книги, но у него денег никогда нет! Очень он любит бросать их, много, очень много проживает. Вот и здесь успел уже истратить десять тысяч франков на одну французенку, на которую и не посмотрел бы в Париже. Ах, как много наживают здесь парижанки!

Я любопытствовала узнать у секретаря - правда ли, что Дюма последние свои романы заказывал писать другим маленьким литераторам, а сам только редактировал их.

- О нет!.. Когда я вел переговоры с ним о поступлении к нему секретарем, то имел счастье видеть, как он сочиняет свои романы. У него в загородном доме большой кабинет, он то ходит, то ляжет на турецкий диван, то качается в гамаке, а сам все диктует и так скоро, что его секретарь едва поспевает писать. Я видел рукопись; в ней ничего нельзя понять; для сокращения вместо слов поставлены какие-то знаки. Секретарь испишет лист и бросит его на стол другому секретарю, который должен переписать, превратить знаки в слова. До дурноты

доводит их мосье Дюма работой, встает сам рано и до 12 часов не дает передышки - все диктует; позавтракают, опять за работу до 6 часов. И как только у мосье Дюма хватает здоровья! Ведь он каждый день обедает с компанией, потом едет в театр, потом ужинает до рассвета. Удивительный человек!

- Хорошо он платит за работу? - спросила я.

- Очень хорошо! Он платит секретарям не по листам, а когда выйдет его роман, то и дает им денег; откроет ящик в столе и возьмет рукой, сколько попадется... Если ему попадутся в руки крупные бумажки - счастье того. Если же попадутся мелкие, то секретари не заикаются, что мало, а ждут, когда он получит хороший куш от книгопродавцев; тогда идут снова просить денег. Зато уж не приступайся к нему, когда у него нет денег. Знаете ли вы, что он мог бы быть миллионером, если бы не бросал так деньги! Весь свет читает его романы.

Сколько было правды в рассказах секретаря, не знаю, - передаю то, что слышала.

Дюма был для меня кошмаром в продолжение своего пребывания в Петербурге, потому что часто навещал нас, уверяя, что отдыхает у нас на даче.

Раз я нарочно сделала для Дюма такой обед, что была в полном убеждении, что по крайней мере на неделю избавлюсь от его посещений. Я накормила его щами, пирогом с кашей и рыбой, поросенком с хреном, утками, свежепросольными огурцами, жареными грибами и сладким слоеным пирогом с вареньем и упрашивала поесть побольше. Дюма обрадовал меня, говоря после обеда, что у него сильная жажда, и выпил много сельтерской воды с коньяком. Но напрасно я надеялась: через три дня Дюма явился, как ни в чем не бывало, и только бедный секретарь расплатился вместо него за русский обед. Дюма съедал по две тарелки ботвиньи с свежепросольной рыбой. Я думаю, что желудок Дюма мог бы переварить мухоморы!

Григорович очень хлопотал, чтобы его другу Дюма сделали официальный обед и, зная, что я буду противиться этому, тихонько от меня уговорил Панаева созвать литераторов. Когда мне объявили об этом, я отказалась наотрез хлопотать об обеде, но Григорович умасливал меня тем, что Дюма восхищается моими кулинарными способностями и моим радушным гостеприимством.

- Он, голубушка, когда будет писать о своем путешествии по России, посмотрите, как вас расхвалит, - в увлечении говорил Григорович.

Я невольно расхохоталась

- Ах! неужели вам не будет приятно, что вся Европа будет читать о вас! - твердил Григорович и не хотел верить, что мне было бы гораздо приятнее, если бы Дюма избавил меня от своих посещений [171].

Обед, однако, состоялся; наехали все приглашенные литераторы, и Григорович был в восторге, что чествование Дюма устроилось.

В день Петергофского гулянья я ждала к себе своих племянниц-девочек и сестру, чтобы свезти их посмотреть на иллюминацию и фейерверк; они должны были остаться ночевать у меня.

Утром я была занята приготовлением им помещения в своей комнате наверху, как вдруг горничная объявила мне, что "едут гости"; я спускалась вниз и выбежала на аллею, чтобы их встретить, и обомлела от ужаса: это был Дюма с своим секретарем и саквояжем. Дюма вообразил, что я выбежала встретить его и воскликнул: "O chere dame Panaieffi" - и чуть не порывался обнять меня. Тут только я вспомнила, что Григорович за завтраком рассказывал виденный им сон, будто я была в больших хлопотах от того, что ко мне, кроме родных, наехало ночевать много гостей. Я была в величайшем негодовании на Григоровича и, не стесняясь,

выбрала его за то, что он, зная за неделю о приезде моих родных в этот день, не мог предупредить Дюма, чтобы тот не вздумал явиться к нам.

- Голубушка, я с секретарем Дюма на сеновале переночую.

- У меня нет ни подушек, ни одеял для вашего Дюма, - отвечала я.

- И так поспит на диване!

- Как хотите, а извольте увезти ночевать, куда хотите.

- Куда же я его повезу, ведь в Петергофе сегодня не только в гостиницах, но и в трактирах не найти свободного угла.

- Ночуйте в парке, мне все равно. В это время приехали мои гости, и я пошла их встретить и поведать мое горе. Я упростила племянниц притворяться, что они не говорят по-французски, для того, чтобы мне под этим предлогом не разговаривать с Дюма.

Мне пришлось снова волноваться, когда я узнала, что Дюма повезут в нашей коляске в Петергоф. Панаев убеждал меня, что нельзя же не отвезти Дюма, потому что достать извозчиков в этот день не было возможности.

- Везите его на телеге, ему надо же испробовать эту езду, чтобы описать ее в своей книге о России! Я обещала племянницам повезти их на гулянье и не дам коляски для Дюма.

Однако меня уговорили, обещая, что Дюма отвезут пораньше и оставят в Петергофе, а коляска вернется, и тогда я повезу племянниц.

Дюма не мог не заметить, что я не говорю с ним ни слова, и даже спросил меня - почему сегодня *chère dame Panaiëff* так озабочена? Григорович все время имел потерянный вид, боясь, чтобы я не выразила чем-нибудь своего гнева на бесцеремонность Дюма, и утешал меня, что Дюма не вернется из Петергофа ночевать к нам.

- Уж я, голубушка, разорвусь на мелкие части, а устрою так, что он ночует в Петергофе.

Но, к моему ужасу, Дюма вернулся, и мне пришлось на маленькой даче уложить спать 7 человек гостей. Подушки и тюфяки прислуги все пошли в ход на эту ночь [172].

Боже мой, как я обрадовалась, когда Дюма приехал, наконец, прощаться перед своим отъездом на Кавказ! Дюма, прощаясь со мной, наговорил мне много комплиментов и так расчувствовался, что обнял меня и поцеловал.

Это так было неожиданно для меня, что я не успела увернуться от его трогательного лобзания...

В это лето 1858 года французы положительно одолели пас своими посещениями. Недели через две или три после отъезда Дюма, Панаев читал мне и Некрасову только что оконченный им фельетон для августовской книжки "Современника" о посещении Дюма Петербурга.

Мы сидели в саду, Некрасов был закутан в плед, потому что уже давно стал чувствовать боль в горле, и в этот год голос у него совсем пропал. Он лечился у доктора Шипулинского, который находил очень серьезной болезнью его горла. Настроение духа у Некрасова было самое убийственное, и раздражение нервов достигло высшей степени. Он иногда по целым дням ни с кем не говорил ни слова. Ему казалось, что он должен скоро умереть, и трудно было отвлечь его от этих мрачных мыслей.

Было около двух часов; чтение Панаева подходило к концу, когда я, завидев в аллее дрожки, сказала: "Кто-то едет к нам". Мы были в уверенности, что это кто-нибудь из сотрудников, и крайне удивились, увидя, что какие-то два незнакомые господина сошли с дрожек и стали приближаться к нам.

Один из них на французском языке спросил Панаева, вышедшего к ним навстречу, не с редактором ли "Современника" он имеет честь говорить.

Я сказала Некрасову, что, вероятно, Дюма прислал каких-нибудь своих приятелей-французов знакомиться с нами.

На лице Панаева я заметила недоумевающее выражение, когда он подошел к нам и рекомендовал посетителей. Один оказался французом-доктором, с весьма типической наружностью и манерами парижанина (конечно, фамилии не помню): средних лет, брюнет, среднего роста, с черными живыми глазами, с усами и эспаньолкой; в петличке его сюртука виднелась какая-то орденская ленточка.

Другой был тоже француз, друг его, как отрекомендовал сам доктор. Оба француз старались держать себя с какой-то официальной важностью.

Панаев пригласил их сесть. Доктор заговорил первый, обращаясь к Некрасову, что он специально приехал из Парижа в Петербург для того, чтобы лично объясниться с ним. Панаев поспешил предупредить доктора, что Некрасов не говорит по-французски, а Некрасов спросил Панаева:

- Что сказал мне француз?

Панаев перевел ему слова француз, который продолжал:

- Это очень жаль, потому что я должен сообщить мосье Некрасову очень для него важную вещь без свидетелей.

Я вышла в стеклянную галерею, недоумевая, какое может иметь важное дело доктор-француз до Некрасова, и притом специально для этого приехавший из Парижа.

Вдруг у меня в голове мелькнула мысль - не явился ли он объясниться по поводу стихотворения "Княгиня", напечатанного в "Современнике" 1856 года.

Некрасов написал это стихотворение, когда все петербургское общество только и говорило, что о смерти одной русской аристократки графини N. (А.К.Воронцовой-Дашковой), которая вторично вышла замуж в Париже, уже с лишком сорока лет, за простого доктора-француза и умерла будто бы одинокая, в нищете, в одной из парижских больниц. Ходили даже слухи, что изверг-доктор страшно тиранил ее и, наконец, отравил медленным ядом, чтобы скорей воспользоваться ее деньгами и бриллиантами на огромную сумму. В сороковых годах эта аристократка считалась в высшем кругу первой львицей, по оригинальной своей красоте, богатству и по живости своего характера.

Лермонтов писал о ней:

Как мальчик кудрявый, резва,

Нарядна, как бабочка летом...

Вторичное замужество аристократки-львицы наделало страшного шума; об этом долго толковали, и едва разговоры стали затихать, как известие о ее смерти снова дало им новую пищу. Все, кто прочел стихотворение Некрасова "Княгиня", тотчас узнали героиню.

В стихотворении "Княгиня" было сказано о муже ее:

Тут пришла развязка. Круто изменился

Доктор-спекулятор: деспотом явился!

Деньги, бриллианты - все пустил в аферы,

А жену тиранил, ревновал без меры.

И когда бедняжка с горя захворала,

Свез ее в больницу... Навещал сначала,

А потом уехал - словно канул в воду! [173]

Я нетерпеливо ждала ухода французов, чтобы узнать - в чем дело и подтвердится ли мое предположение. Вскоре я увидела Некрасова, идущего к галерее с Панаевым. Некрасов как-то особенно был хмур, а у Панаева на лице выражалась сильная тревога. Я вышла им навстречу и была поражена словами Панаева:

- Это безумие с твоей стороны было принять вызов! Затем, обратись ко мне, Панаев прибавил:

- Не дал мне ничего говорить, только твердил одно французам: вуй, вуй!

- Пожалуйста, оставьте меня в покое! - раздражительно проговорил Некрасов. - Надо было их оборвать сразу, чтобы они не вообразили, что я испугался их вызова! И Некрасов пошел по аллее к морю. Панаев потерянным голосом произнес:

- Я сейчас поеду в Петербург. Надо, чтобы все убедили Некрасова в нелепости драться на дуэли из-за таких пустяков.

Из дальнейшего объяснения Панаева я узнала, что доктор-француз был вторым мужем умершей графини и вызвал Некрасова на дуэль за стихотворение "Княгиня", найдя, что Некрасов взвел на него чудовищную клевету.

Странно было, как доктор-француз мог узнать об этом стихотворении в Париже. Вероятно, кто-нибудь указал ему на него и подбил требовать от Некрасова удовлетворения, рассчитывая, что он откажется драться и выйдет скандал [174].

Недоброжелателей у Некрасова, да и вообще у "Современника", было много.

Я остановила Панаева от поездки в Петербург, на том основании, что благоразумнее сохранить вызов в тайне. Если хоть один литератор узнает об этом, то неминуемо пойдут толки, сплетни, и если дуэль не состоится, то начнут говорить, что Некрасов струсил, сподличал перед французом. Я советовала Панаеву не приставать к Некрасову до тех пор, пока он не успокоится и сам не заговорит о вызове.

И точно, Некрасов сам за обедом сказал:

- Однако надо к этим франтам-французам послать кого-нибудь для переговоров.

Я посоветовала избрать для этого Б., на скромность которого вполне можно было положиться. Б. не был литератором, но мы все его коротко знали. Послали ему телеграмму; Б. приехал в тот же день с последним пароходом и был, конечно, крайне удивлен вызовом французом. Долго обсуждали, как следует Б. вести разговор с секундантом доктора. Некрасов

просил Б., чтобы тот не давал французам повода думать, что он испугался и заискивает примирения.

Б. обещал, но сказал мне, что надо употребить все усилия, чтобы расстроить эту глупую дуэль.

На другое утро мы с первым парходом отправились в Петербург. Я в волнении ждала возвращения Б. от французов и выбежала к нему на лестницу, завидев его издали из окна. Б. успокоил меня, что дело уладится, потому что он заметил, какое впечатление произвел на секунданта, когда стал говорить ему о необходимости принять меры осторожности, чтобы полиция не проведала о дуэли, так как дуэли строго преследуются в России законами. Некрасов встретил Б. словами:

- Ну, что, когда назначен день? Б. отвечал, что день еще не назначен. Некрасов торопливо спросил:

- Почему?

- Потому, что я признал неудобным, чтобы вы стрелялись в окрестностях Петербурга, а придумал, что мы вчетвером отправимся, под видом охоты, подальше по железной дороге, и никто не обратит внимания на то, что мы пойдем в лес вчетвером.

- Тебе надо сейчас же опять ехать и сказать французам, чтобы завтра они приехали к десятичасовому поезду на Николаевскую железную дорогу, - сказал Некрасов.

Б. отвечал, что французы вместе с ним вышли из отеля, чтобы ехать по какому-то делу в Царское Село. Некрасов сделал нетерпеливое движение и проговорил:

- Эти проволочки меня злят. Б. попробовал было опять доказывать ему нелепость этой дуэли, но Некрасов раздражительно остановил его:

- Я лучше тебя понимаю, что глупо из-за такого пустяка подставлять свой лоб под пулю, но все-таки рад этому случаю: лучше разом покончить с жизнью, чем в мучительном томлении ждать смерти. Я знаю и чувствую, что моя болезнь неизлечима, и мне противно жить полумертвецом. - Затем, обратясь ко мне, Некрасов прибавил: - Что же не подают завтрак?.. я есть хочу, да и Б., я думаю, проголодался.

Подали завтрак, но Панаев отказался от него и ушел в свой кабинет. После завтрака я пошла спросить Панаева, не хочет ли он кофе, и не обратила бы внимания, что он пишет, если бы он торопливо не прикрыл свою работу книгой.

- Не вздумал ли ты писать к доктору-французу? - спросила я.

Панаев стал было запираяться, но я не поверила и убеждала, прежде чем писать, обсудить хорошенько каждую фразу.

-- Ты сама посуди, возможно ли допустить эту безобразную дуэль! Я надеялся на Б., но он, к моему удивлению, послушался Некрасова и шагу не сделал, чтобы отклонить дуэль.

В эту минуту в кабинет вошел Б., и я сообщила ему о намерении Панаева писать письмо к доктору-французу.

Панаев произнес:

- Об этом нечего рассуждать; необходимо расстроить дуэль. Разве возможно допустить, чтоб еще один русский поэт был убит на дуэли французом! И это будет не дуэль, а просто убийство, потому что Некрасов болезненный человек, постоянно находится в нервном

раздражении, и вдруг допустить его до дуэли! Это значит, что мы будем участниками в убийстве!

- Я совершенно с тобою согласен, - отвечал Б.

- Так почему же ты ничего не объяснил французам о болезненном состоянии Некрасова?

- А потому не говорил сегодня, чтобы не подать им повода подумать, что их вызова испугались. Вы оба горячитесь, а в этом глупом деле не надо спешить. Французы сами могут образумиться, когда увидят, что не испугались их вызова. Завтра я буду говорить с ними уже иначе. Потом увидим, какое письмо тебе надо написать.

Некрасов с юных лет уже ходил на охоту и стрелял хорошо из ружья; он с Б. поехал в тир, чтоб немного попрактиковаться в стрельбе из пистолета, и вернулся к обеду в самом хорошем расположении духа, потому что не сделал ни одного промаха. Б. после обеда ушел, но часов в 10 вечера явился опять и показал телеграмму, полученную им от секунданта-француза, извещавшего его, что по непредвиденным обстоятельствам он должен уехать в Царское Село и завтра утром в назначенный час для их свидания не успеет вернуться и просит Б. приехать в 4 часа.

Некрасова это раздражило, и он выругал французоз:

"Чтоб черт их побрал, так хотелось спать, а теперь сон пропал".

- Знаешь ли, Некрасов, - сказал ему на это Б. - ведь ты волнуешься этой глупой дуэлью, как мальчишка, которому очень льстит, что он получил вызов, и страшно боится, чтобы его не лишили возможности выказать свою детскую храбрость.

Некрасов терпеливо выслушал Б. и отвечал:

- Ты прав, в самом деле вся эта история нелепа! Будь я здоров, я бы только посмеялся над ней, потому что в этой дуэли нет смысла! Француз думает восстановить ею свою репутацию в России, где никто не знает об его существовании. Все это что-то странно и смешно.

- Но странно еще, что я узнал в отеле, что французы уже три недели, как прибыли в Петербург. Если приехали сюда специально для дуэли, то что же они раздумывали так долго явиться к тебе, и неужели все разыскивали, где ты живешь!

Некрасов прекратил этот разговор тем, что предложил Б. сыграть по маленькой в пикет, так как разгулял свой сон.

История с дуэлью кончилась тем, что доктор-француз сначала обратил свой вызов к Панаеву, найдя сам, что при болезненном состоянии Некрасова шансы будут не равны, и что он, отправляясь в Петербург, решил, что, если по каким-нибудь обстоятельствам не может стреляться с Некрасовым, то вызовет Панаева, которого считал участником в клевете.

Б. отвечал, что Панаев наверно не откажется от вызова, а затем повел с французами разговор о том, что не благоразумнее ли будет с обеих сторон прекратить эту дуэль, так как в сущности стихотворение Некрасова своим названием "Княгиня" уже доказывает, что оно не было написано на умершую жену доктора.

Французы потребовали тогда, чтобы Панаев подтвердил это письменно.

- Вот шут-то! Да что он, наклеит себе это письмо на шляпу и будет прогуливаться по Парижу, чтобы восстановить свою репутацию? - сказал Некрасов.

- Ну, черт с ним, надо покончить всю эту чушь.

Я заметила, что французы могут напечатать это письмо в парижских газетах, и тогда многие здешние литераторы обрадуются и поднимут гвалт.

Панаев и Некрасов согласились со мной, и было решено, что Б. отправится вместе с Панаевым к французам для словесного объяснения. Вернувшись, они уверяли меня, что дело обошлось без письма и кончилось благополучно.

Однако я только тогда совершенно успокоилась, когда узнала, что французы уехали из Петербурга.

Осенью Панаев случайно узнал от одного своего знакомого, родственника умершей графини Н. (А.К.Воронцовой-Дашковой), что доктор-француз приезжал в Петербург для переговоров с родственниками относительно оставшегося в России имущества его жены, но ничего не получил.

Очевидно, он лгал, будто только затем и приехал в Петербург, чтобы вызвать на дуэль Некрасова. Но для какой цели и по чьему наущению был сделан этот вызов, так и осталось загадкой для нас.

Историка Костомарова я увидела в первый раз, когда он приехал к нам вскоре после своей ссылки [175]. Я подробно знала об его аресте и высылке его из Петербурга.

Видно было по болезненной наружности Костомарова, что ему дорого обошлась вся эта передышка; он обедал у нас и, видимо, был счастлив, что снова может жить в Петербурге.

Уезжая с дачи на пароходе, он попросил у Панаева за весь год "Колокол", которого в ссылке не имел случая читать. Сверток был довольно объемистый. Привели извозчика, и Костомаров уехал, обещая вскоре опять приехать на дачу.

Не прошло и полчаса времени, как я увидела Костомарова, идущего по заброшенному огороду около нашей дачи, отделявшемуся от нее довольно широкой канавкой.

- Господа, ведь это Костомаров! Как он попал на огород? - сказала я Панаеву и Некрасову.

Они сперва не поверили мне, но, всмотревшись хорошенько, убедились, что точно это он. Мы все пошли к аллее и окликнули Костомарова, который быстро шагнул.

- Я ищу, как бы попасть на вашу дачу! - отвечал он. Ему растолковали, что он не туда попал - и что надо вернуться назад к шоссе.

Мы направились к нему навстречу и заметили, что он был чем-то очень встревожен.

- Что с вами случилось? - спросили мы его.

- Большое несчастье, - тихонько проговорил он. - Пойдемте скорей на дачу, я там вам все расскажу, здесь неудобно рассказывать!

Мы тоже встревожились, недоумевая, что за несчастье с ним случилось.

Придя к даче, Костомаров, измученный ходьбой, опустился на скамейку, а мы окружили его и с нетерпением ждали объяснения. Костомаров огляделся во все стороны и тихо произнес:

- Никто не подслушает нас?.. Я потерял "Колокол".

- Господи, а мы думали, что с вами бог знает что случилось! - сказал с досадой Некрасов.

- Где же вы обронили его? - спросил Панаев.

- Сам не знаю; хотел надеть в рукава шинель, положил сверток около себя. Задумался... хватать, а его уж нет! Я отдал скорее деньги извозчику и пошел назад по шоссе в надежде, что найду его, но не нашел. Значит, кто-нибудь поднял сверток.

- Понятно, что поднял, если вы его не нашли, - ответил Панаев, - и если его нашел человек образованный, то поблагодарит мысленно того, кто доставил ему случай прочесть за целый год "Колокол".

- А если отнесут в полицию? Пойдут розыски - а извозчик укажет, откуда он взял седока?

- Что с вами, Костомаров? - заметил ему Панаев.

- А ваш лакей может сказать, что это я потерял!

- Да лакея даже не было в саду, когда вы уехали, - успокаивал его Некрасов.

- К чему это я повез с собой "Колокол"! - в отчаянии проговорил Костомаров.

Его стали успокаивать, даже посмеивались над его испугом, но он сказал:

- Ах, господа, пуганая ворона куста боится. Если бы вам пришлось испытать то, что я испытал, так вы бы теперь не смеялись. Я по опыту убедился, как из пустяка может человек много выстрадать. Возвращаясь в Петербург, я дал себе клятву быть осторожным - и вдруг поступил, как мальчишка!

Костомарова уговорили остаться ночевать, потому что у него сделалась лихорадка, да притом он опоздал бы на пароход, если бы и поехал. Я приготовила ему горячего чаю с коньяком, чтобы его согреть.

На даче я обыкновенно вставала рано и шла купаться. Не было еще 7 часов, когда я вошла в стеклянную галерею, чтобы выйти в парк, а Костомаров уже сидел в ней.

- Что лихорадка ваша? - спросила я его. Костомаров ответил, что всю ночь не спал, поинтересовался, в котором часу отходит первый пароход, и вдруг шутливо спросил:

- Посмотрите... что это за человек идет?

Я стояла спиной к стеклянной двери и обернулась.

- Это наш Петр, вероятно, с купанья идет, - сказала я и велела лакею скорей ставить самовар, чтобы напоить Костомарова кофеем.

Я уже не пошла купаться, а осталась с Костомаровым. Я посоветовала ему не ехать на пароходе, так как он чувствовал себя нехорошо, а между тем могла случиться качка.

- Лучше я велю заложить дрожки, - сказала я, - вас довезут до Петергофа, а там вы найдете себе полуколяску и доедете гораздо спокойнее.

Костомаров очень обрадовался моему предложению и сказал, что, при его настроении духа, ему было бы неприятно находиться в толпе пассажиров. Он с нетерпением ждал, когда кучер заложит дрожки.

Я разбудила Панаева и сообщила, что Костомаров уезжает.

Панаев, заспанный, вышел к Костомарову, который засуетился, увидав, что дрожки готовы.

Панаев, прощаясь с ним, сказал:

- Приезжайте к нам, когда вздумаете, с утра и ночуйте у нас.

- Ну нет! - ответил Костомаров. - Благодарю: моя поездка к вам произвела на меня такое впечатление, что я носу не покажу в ваш Петергоф.

Он уже сошел было с ступенек галереи, но опять вернулся, говоря:

- Боже мой, где же у меня голова, такую важную вещь забыл. Надо же нам сговориться, чтобы не было противоречия в показаниях.

- Каких? - спросил Панаев.

- Господи, ну, если будут спрашивать о потерянном свертке.

- Да полноте, Костомаров!

- Нет! я человек бывалый...

- Скажу, что я потерял! - произнес Панаев. Костомаров опешил.

- А свидетель?

- Какой?

- Извозчик! Панаев засмеялся.

- Забудьте вы о "Колоколе", сообразите сами, ну как возможно разыскать, кто потерял на шоссе свертки! Ваш извозчик не знал о потере его?

- Еще бы я ему это заявил! Я отдал деньги, сказав, что раздумал ехать на пароход, и пошел назад, а он поехал дальше.

- Ну, так как же он может указать на вас? Костомаров задумался, махнул рукой и произнес: "Ну, чему быть, того не миновать!" - и, пожав нам руки, сел на дрожки и уехал.

Я должна вернуться назад и рассказать о появлении графа Льва Николаевича Толстого в кружке "Современника". Он был тогда еще офицер и единственный сотрудник "Современника", носивший военную форму. Его литературный талант настолько уже проявился, что все корифеи литературы должны были признать его за равного себе.

Впрочем, граф Толстой был не из робких людей. Да и сам сознавал силу своего таланта, а потому держал себя, как мне казалось тогда, с некоторой даже напускной развязностью.

Я никогда не вступала в разговоры с литераторами, когда они собирались у нас, а только молча слушала и наблюдала за всеми. Особенно мне интересно было следить за Тургеневым и графом Л.Н.Толстым, когда они сходились вместе, спорили или делали свои замечания друг другу, потому что оба они были очень умные и наблюдательные.

Мнения графа Толстого о Тургеневе я не слышала, да и вообще он не высказывал своих мнений ни о ком из литераторов, по крайней мере при мне. Но Тургенев, напротив, имел какую-то потребность излить о всяком свои наблюдения.

Когда Тургенев только что познакомился с графом Толстым, то сказал о нем:

- Ни одного слова, ни одного движения в нем нет естественного! - Он вечно рисуется перед нами, и я затрудняюсь, как объяснить в умном человеке эту глупую кичливость своим захудалым графством!

- Не заметил я этого в Толстом, - возразил Панаев.

- Ну, да ты много чего не замечаешь, - ответил Тургенев.

Через несколько времени Тургенев нашел, что Толстой имеет претензию на донжуанство. Раз как-то граф Толстой рассказывал некоторые интересные эпизоды, случившиеся с ним на войне. Когда он ушел, то Тургенев произнес:

- Хоть в щелоке вари три дня русского офицера, а не вываришь из него юнкерского ухарства, каким лаком образованности ни отполируй такого субъекта, все-таки в нем просвечивает зверство.

И Тургенев принялся критиковать каждую фразу графа Толстого, тон его голоса, выражение лица и закончил:

- И все это зверство, как подумаешь, из одного желания получить отличие.

- Знаешь ли, Тургенев, - заметил ему Панаев, - если бы я тебя не знал так хорошо, то, слушая все твои нападки на Толстого, подумал бы, что ты завидуешь ему.

- В чем это я могу завидовать ему? в чем? говори! - воскликнул Тургенев.

- Конечно, в сущности ни в чем; твой талант равен его... но могут подумать...

Тургенев засмеялся и с каким-то сожалением в голосе произнес:

- Ты, Панаев, хороший наблюдатель, когда дело идет о хлыщах, но не советую тебе порываться высказывать свои наблюдения вне этой сферы! [176].

Панаев обиделся:

- Я тебе это заметил для твоей же пользы, - сказал он и ушел.

Тургенев продолжал кипятиться и с досадой говорил:

- Только Панаеву могла прийти в голову нелепая мысль, что я мог завидовать Толстому. Уж не его ли графству?

Некрасов все это время мало говорил, потому что болезнь горла совершенно подавляла его. Он только заметил Тургеневу:

- Да брось ты рассуждать о том, что вздумалось сказать Панаеву. Точно в самом деле можно тебя заподозрить в такой нелепости!